

# АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛЯЯ...

Седьмого января в сельской глубинке Прованса собралось несколько человек, чтобы отпраздновать православное Рождество. Южная зима подходила к концу: прекратились дожди, сквозь слой опавших листьев пробивались крокусы, на солнечных склонах гор зацветала мимоза.

Гостей принимали Пьер и Татьяна, с ударением на последнее «а». В прошлом Татьяна была актрисой драматического театра в городе Петрозаводске, но лет в 45 умудрилась выйти замуж за очаровательного Пьера, полуфранцуза-полуиспанца. Пьер не имел постоянной работы, зато жил в собственном доме в горах, дом достался ему от деда.

Первыми прибыли украинка Катя со своим старым мужем Жаном-Мари. Жан-Мари владел виноградником и заодно выращивал всякие овощи, Катя называла его колхозником, Жан-Мари не понимал и не обижался. Он был грузен, и его ярко-голубые глаза в сочетании с набухшими красными веками наводили на мысль о почти невозможном в этих краях алкоголизме. Впрочем, ни для кого не было секретом, что он и в самом деле крепко пил и вообще опустился после смерти своей первой жены-француженки. Статная, большегрудая Катя была родом из Крыма. Хотя Катерина приехала когда-то на Авиньонский фестиваль в качестве участницы группы народной самодеятельности, она была привычна к крестьянскому труду, не побоялась взяться за запущенные земли Жана-Мари, за что была вознаграждена брачным союзом и стабильным достатком. Вот и сейчас она выгрузила из очень старого, но ухоженного автомобиля корзины с угощением и еще просто так, в подарок хозяевам, связку домашних колбас, коробку сыров, косичку лука, огромную тыкву и, главное, пару канистр превосходного домашнего вина.

Женщины говорили по-французски и сами смеялись над своими акцентами – у одной северный, у другой украинский, – а главное, над обычной французской приветственной болтовней: «сова-сова бьен– э туа – бьен – мерси – бо– тре-тре бо – иль фер бо ожурдию – ви – се вре –

се вре – ви– тре бьен»\*... Старые приятельницы ревниво рассматривали друг друга, и все эти слова вдруг показались им особенно нелепыми. Впрочем, довольно быстро мужчины с энтузиазмом удалились в дом для аперитива, а их жены принялись накрывать в саду стол и перешли на русский язык.

– Сегодня ожидается новенькая. Совсем молодая, еще нет тридцати, вышла замуж за военного в отставке. Ее Ира зовут, его, кажется, Мишель.

– Что, опять Мирочка постаралась? Ею скоро полиция заинтересуется. Мой колхозник уже весь изворчался на засилье иностранцев.

– Нет, сама познакомилась, представь себе, по Интернету.

– А почему примкнула к нашей компании?

– Тоскует. На грани нервного срыва. Узнала, что в округе есть русские, и вышла на связь. Мирочка ее пригласила, говорит, та чуть не плакала от счастья.

– Мне тоже было нелегко первые два года. Я работой спасалась. До кровавых мозолей. Это сейчас вся Маришкина родня приперлась, а поднимала все я сама.

– Молодец... А мне до сих пор иногда тошно. Пьерчик как уедет на несколько дней к кому-то что-то строить, мне хоть волком вой. Интернет не работает, мобильник только с соседней горы... Я тут песни народные пою, романсы, а иногда даже повторяю старые роли, представляешь, какой дурдом?

– Хочешь назад в Петрозаводск?

Татьяна вздохнула, нахмурилась, опустила тяжелые накрашенные ресницы.

– А свою собственную племянницу Мира так и не пристроила? – снова заговорила Катя.

– Поди такую пристрой. Уже третий раз приезжает. Жметя, мнетя и очень странно шутит.

– Видали, видали. Случай тяжелый, однако не смертельный. Она вроде моложе нас. Не горбатая, не кривая... А острофранцузы все равно не понимают, по экстерьеру судят.

– Ну, не скажи. Конкуренция-то возросла с этим их Евросоюзом. Теперь, если француза потянуло на экзотику, он без всякой женитьбы может взять себе полячку или болгарку... или румынку, те к тому же говорят почти по-французски. Это не считая негритянок и арабов. А еще здесь почему-то полно бразильянок. Они знаешь какие? Ты карнавал по телевизору видела когда-нибудь? Ну вот то-то и оно. Какая уж тут маньес де Петербур\*\*.

– Да, но, слухи ходят, она кого-то нашла.

– Кандидат наметился. Он тоже сегодня будет, зовут Рене. Придурок редкостный, между нами говоря. Я думаю, сумасшедший. Среди французов очень много психов. Старая нация. Вырождаются.

– Знаешь, на каждую косую кастрюлечку найдется своя горбатая крышечка.

Тем временем прибыли Ира и Мишель. Ира выглядела девочкой и, в общем, единственная из присутствующих дам была похожа на француженку – худая, одетая в спортивное, без всякой косметики. Она

---

\* Как дела – дела хорошо – а у тебя – хорошо-спасибо – прекрасно – очень прекрасно – сегодня прекрасная погода – да – это правда – это правда – да – очень хорошо.

\*\* Моя племянница из Петербурга.

еще не привыкла к тому, что при любой встрече она обязана два раза поцеловаться со всеми: с незнакомыми ей лохматым и бородатым Пьером, с небритым сопящим Жаном-Мари. Катя по-матерински прижала ее к своей выдающейся груди, Таня жеманно прикоснулась нежной впалой щекой. Ира с явным трудом отвечала на посыпавшиеся градом вопросы: родилась в Белоруссии, жила в Подмоскowie, работала программистом, да, платили очень мало даже программистам... да... в России жить нелегко... Франция мне нравится... очень красивая страна... Люблю Францию очень... здесь красиво очень... тре жולי иси\*.

Ира вдруг поняла, что ее героические попытки говорить по-французски понятны только женам, а их мужья, ничего не разобрав в бормотанье иностранки, спрашивают о том же Мишеля.

– Же не парль па франсе!\*\* – громко сказала Ира и покраснела от злости.

– А как же с ним? – заинтересовались Пьер и Жан-Мари с грубоватой, провинциальной развязностью.

– Мы общаемся на английском и отлично друг друга понимаем, – ответил ее муж, уверенно и властно обнимая хрупкую Иру, – она научится французскому и через год будет говорить без всякого акцента.

– Лямур!\*\*\* – сладко улыбнулась Татьяна.

– Ага. Тужур\*\*\*\*, – прошипела Ира. – Научись тут у них, как же... Они не желают ничего понимать кроме идеального французского языка.

– А кому легко? – Катя хлопнула ее по плечу. – Привыкнешь, не расстраивайся, три к носу.

– Вы говорите по-русски, – Ира просияла, слушая родную речь, как музыку. – Какое счастье. Оторвусь за полгода. Побудешь, Миша, в моей шкурке, – обратилась она к озадаченному Мишелю, который не понимал ни слова.

Осмотрев накрытый стол, Ира и вовсе развеселилась.

– Ай, да это просто сон. Огурчики соленые, грибочки, боже, оливье... А это? Пирог с капустой... И ватрушки? Катенька, вы сами пеки? Девочки, я попала в сказку? А это что, неужели сало? Боже, я думала, уже никогда ничего подобного не увижу...

– Крепись, мошери\*\*\*\*, это только начало.

Внезапно все услышали громкий женский голос, горланящий «Марсельезу», пение сопровождалось ударами бубна, невероятный концерт разносило горное эхо.

– Мирочка! – догадались Таня с Катей.

Из-за живой изгороди появилась старая женщина небольшого роста, которая продолжала трясти бубном. Она была одета в длинное африканское платье и бейсболку, из-под которой задорно выбивались две тонкие седые косички. За ней, приплясывая, продвигался грациозный некрупный мужчина средних лет, следом женщина с классическим русским лицом. Это бесхитростное лицо, не таясь, выражало досаду: «Ну почему я должна появляться в сопровождении этих клоунов?»

Экстравагантная Мирочка, а на самом деле ее звали Мирей, была истинной героиней вечера. Потомок русских эмигрантов первой волны, родившаяся во Франции в 1931 году, она не забыла свое происхождение

---

\* Здесь очень красиво.

\*\* Я не говорю по-французски.

\*\*\* Любовь.

\*\*\*\* Всегда.

\*\*\*\*\* Дорогуша.

и с энтузиазмом шла на контакты с соотечественниками. В результате у нее в доме подолгу жили ее родственники и знакомые, некоторые из них, например Таня и Катя, в результате выходили замуж за французов.

– А, Мирей! – пробасил Жан-Мари. – Как хорошо, что ты пришла, теперь я не самый старый.

– Я правильно поняла? Где же хваленая французская галантность? – прошептала пораженная Ира.

– А сожрали ее с маслом и круассанами, – отозвалась Катя, пока они строились в очередь для целовального обряда. Двое хозяев и четверо гостей неторопливо и естественно переобнимались и перецеловались с тремя вновь прибывшими. Похожую на матрешку племянницу звали Люба, а ее чудесно обретенного ухажера – Рене. Выяснилось, что Жан-Мари и Пьер знали Рене, как, впрочем, здесь знали друг друга все старожилы. Рене работал в государственной дорожной службе, следил за состоянием дорог, иногда сам их чистил и ремонтировал. Так как и Пьер, и Жан-Мари жили на хуторах, они сталкивались с дорожной службой регулярно. А вот Мишеля никто раньше не встречал. Оказалось, это неслучайно: Мишель относительно недавно купил в Провансе дом. Он был молодым военным пенсионером, решил пожить не работая, скромные доходы позволяли ему обосноваться только лишь в деревне.

– Прикольное платье у племянницы, небось, старше ее самой. Наверняка у Мирей в доме подобрала себе секондхенд на выход, – прошептала Татьяна.

– А что в России сейчас купишь-то, если не миллионер? – прищурилась Катя, разглядывая «маньес». – Да ей и неплохо. Натуральный шелк. Если честно, я сама это платье у Миры в доме примеряла, когда там жила. Да мне в сиськах не сходило.

– И я теперь его припоминаю. Мне было велико, – хихикнула Таня. Они обе раньше жили у Мирей, перед тем как выйти замуж. Особенно долго там засиделась Катя, она два года, сжав зубы, батрачила на полях Жана-Мари за мизерную плату, предчувствуя перспективу замужества.

Мирей и «маньес» прибавили свою лепту к русскому столу. Любе удалось блеснуть, потому что она только вчера прилетела из Петербурга. Она привезла настоящий черный хлеб, докторскую колбасу, огромное количество селедки, половина которой пошла на малиново-желтую селедку под шубой. В доме у Мирей она уже успела наварить целую кастрюлю гречневой каши с жареным луком, которая была встречена русскими на ура. В довершение всего она смущенно передала хозяевам семисотграммовую бутылку русской водки. На этикетке гримасничал Распутин.

– Раз пошла такая пьянка, то посмотрим, чья возьме, – закричала Катя и извлекла откуда-то бутылку с мутноватой жидкостью. – Москальская водка против хохляцкой горилки.

– Яблоки, виноград? – со знанием дела спросил Пьер.

– Цукер-сахарок! Все перепробовали, ничего лучше не найти.

Рене пошевелил породистыми тонкими ноздрями, оценивая содержимое открытых бутылок.

– Се па вре, мон кёр\*, – восторженно взвизгнул он и почему-то ущипнул Любу за попу. Люба беспомощно улыбнулась.

---

\* Это невероятно, сердце мое.

– Вы же не собираетесь все это пить, – строго спросила Мирей. Русское пьянство было одной из тех немногих вещей, что ее по-настоящему пугали.

– Только нюхать, – усмехнулась Татьяна.

– Девять человек, – задумчиво прикинул Пьер. – Клянусь богом, в России, возможно, они бы выпили все. – Пьер был в России четыре раза, причем два из них в самом Петрозаводске. Он немного говорил по-русски и вообще знал о России больше всех остальных французов.

– Па вре\*, – прошептал Рене, с ожившим интересом поглядывая на Любу.

Татьяна завершила сервировку, расставив на столе блестящие бокалы, маленькие рюмочки, явно привезенные из России, затейливые новогодние букеты и свечи. Свечи горели ровными оранжевыми язычками, окружающий воздух был спокоен и легок. Это был воздух цивилизованной Франции.

Как и Ира с Мишелем, Люба и Рене были англоговорящей парой, английский неплохо знал и Пьер, и, конечно, Мирей, которая, кажется, говорила на всех языках, но Татьяна с Катей и Жан-Мари английский не жаловали. В конце концов решено было за столом говорить на русском и французском, кому как удобно, а Мирочку объявили официальным переводчиком. Пожилая дама изъяснялась по-русски с сильным акцентом и не знала некоторых слов, но это лишь добавляло живости в беседу.

После чинной дискуссии об очередности спиртных напитков и необходимости повышения градуса русские дамы решили начать с горилки. Не запивать же вином селедку и огурцы. И вообще, при наших микроскопических дозах очередность не имеет значения. Обычная история. Из мужчин затею поддержал только опытный Пьер, а остальные, с недоумением убедившись, что их не разыгрывают и что в бутылках не вода, наполнили бокалы великолепным вином Жана-Мари. Дружно зазвенели вилки. Французы осторожно пробовали русские кушанья по половине чайной ложки, говорили обязательное «о, тре бон\*\*», но в целом придерживались своей диеты – листья зеленого салата, оливки, затем горячее, приготовленное Татьяной, – утка, фаршированная каштанами. Мира, несмотря на почтенный возраст, как настоящая русская каждого блюда накладывала по тарелке, утку заедала гречневой кашей и даже отдала должное кисло-кисловато-крахмальной докторской колбасе с ее неподражаемым запахом чесночной эссенции. Да, да, разумеется, русская кухня жирна и тяжеловата, но, но... когда годами всего этого не видишь, то хочется до дрожи, до дури и всего много. Да, хорош ароматный французский хлеб с грецкими орехами или оливками, но наш черный, ржаной да с колбаской... это ж полжизни. Эх! Выпьем. За любовь уже пили? Ну, тогда за русско-французскую дружбу.

На десерт Таня подала, как положено, тарелку с разномастными воюющими сырами, русские пережедали сыры огурцами и грибочками и заодно вернулись к водке.

– Будете пить? – обреченно спросила Мирей.

– Конечно. А для чего собрались-то? – с готовностью отозвалась Катя. Поигрывая мощными боками, она вразвалку пошла к машине, вернулась назад с баяном и с радостным звуком растянула его во всю

---

\* Невероятно.

\*\* О, очень вкусно.

ширь. Таня сбежала в дом и появилась с гитарой, театрально перебирая струны.

– Оторвусь! – в который раз пообещала мужу Ира.

– Народный испанский обычай, – провозгласил неожиданно для всех Пьер на русском языке и, повертев в руках пустую бутылку из-под самогона, метнул ее в кусты. Этому трюку его научили зимой в Петрозаводске.

– Ньельзья оставлять на столе, – пояснил Пьер.

Катя спела несколько украинских песен, Пьер виртуозно аккомпанировал на гитаре, Мирочка вполне уместно встряхивала бубном. К сожалению, слов она разобрать не могла, поэтому все песни оставались без перевода. Это не мешало всем остальным подпевать все громче. Как ни странно, почти никто не фальшивил. На «Распрягайте, хлопцы, коней» Ира свистнула в два пальца и пустилась в пляс, Люба перестала стесняться и запела неожиданно мощным голосом, временами перекрывая саму Катю. Мишель протанцевал с Ирой последние па, он умел танцевать и пытался изобразить кадрили, Пьер с гитарой встал на одно колено, Рене «почувствовал себя русским» и вовсе пустился вприсядку, но ему пришлось держаться руками за землю. Торжествующая Катя рухнула на колени к Жану-Мари, он крикнул, но выдержал.

Перед Татьяной стояла нелегкая задача, после такого темпераментного выступления русские песни могли показаться пресноватыми. Она спела «Очи черные», переходя с шепота на крик, ее громко подхватывала Мирей, которая, наконец, знала слова. Не красные, а страстные, Мира, ерунду поешь. – О, правда?

Таня спела еще несколько романсов. Французам больше нравились цыганские, их заводил ритм, Пьер раскраснелся, терзая гитару. Он постукивал ногами, как танцор в арагонской хоте, и стал похож на опереточного испанца, являя собой живой мост между двумя культурами. Но русскими постепенно овладело более глубокое чувство – русская боль и тоска, они спели «Ямщика», «Хризантемы», перешли к «Белой акации ветвям душистым». «Боже, какими мы были наивными...» И у всех слезы на глазах. Ирочка, детка, неужели и ты уже побывала наивной? – Я? А как же? Что я, рыжая, что ли? Я даже замужем была. Пьяница. Думала – спасу, такая великая я, такая неординарная я. А получилось как у всех. Даже хуже. Он умер. – Ого! – Ничего, мы с ним уже не жили, он уже с другой жил... Сейчас, конечно, я люблю Мишеля.

Незнакомая музыка редко нравится, заскучавшие французы попросили спеть «Катюшу», эту песню знали все. Мира, не катушка на берег выходила, а Катюша. – О, да? А Катюша – это кто? – Это девушка такая, пишет любимому на фронт. – Неужели на фронт? Это про войну?

– Да, – неожиданно заявила Люба, – про войну. И «катюша» – это не девушка, это такое орудие на берег выходило... установка реактивной артиллерии.

– Ах, вот как! – встревожился Мишель.

– Да, Мишель, вы-то должны, наверное, знать, что такое «катюша».

По ассоциации завели «Здесь птицы не поют», «Горит и кружится планета, над нашей родиной дым»... Женские голоса слились в драматическом порыве. Таня, Катя, Люба, Ира – сейчас именно они стали «отдельным, десантным батальоном». Какая им нужна победа, над кем? Хорошо, что мужчины не понимали слов. Это про любовь? Нет, это тоже про войну. После спели «Снимай шинель», почти у всех исполнительниц увлажнились глаза, а Ира, не скрываясь, смахнула слезу.

– Это очень грустная песня, – констатировал Рене, – это, наконец, про любовь?

– Нет, это тоже про войну!

– Ну, спойте же про любовь!

– Какие предложения? – спросила помрачневшая Таня. Пьер, словно поддерживая жену, нервно и недовольно перебирал струны гитары. Пьер был отличным гитаристом, когда он не следил за руками, у него получалось фламенко. Последовало несколько запевков про любовь, но все не вязалось.

– Может, «Ель»?

– Это точно без меня, – вдруг категорично заявила Люба. – Ненавижу это песню. Нагло и подло бросают жен, а потом еще и песни сочиняют. А мы, как дуры, поем их.

Тем не менее остальные трое уже стройно выводили слова про безжалостно развенчанную новогоднюю красавицу. Люба демонстративно отошла, смотрела в зеленое вечернее небо, вдыхала пряные запахи иноземной весны.

– Она что, тоже брошенка? – шепотом осведомилась Катя после окончания песни.

– А как же иначе в нашей распрекрасной стране, – ответила Таня, – даже меня один козел поменял на помоложе. Мирочка, это не для перевода, конечно.

– А вот я сама ушла. Пил и бил. Меня воспитали гордой. Я, если что, и сама в глаз могу дать.

Мира перевела, история показалась ей интересной.

– У-ля! – воскликнул Рене, мысленно оценивая силу удара.

Одним словом, любовная тема не задалась. Никто толком не помнил слов. А вот военные все знали, стройно и слаженно пели и про Великую Отечественную, и про Гражданскую, и про «Сопки Маньчжурии». Спели «Вы слышите, грохочут сапоги», после которой в сторонку отошла Катя. Катя вернулась с покрасневшими глазами. Беззащитно-круглый затылок был у бритого налысо Карима, ее молодого любовника-татарина, с которым она сошлась после развода. Бывший муж, как и все односельчане, был категорически против страстного романа, всех возмущал возраст, а главное, национальность Кариши, им угрожали, его избили, по этому самому затылку палками и сапогами. Катя уехала во Францию на фестиваль и не захотела возвращаться. Историю своей любви она рассказала, когда просила вид на жительство во Франции: ее, выходит, преследовали на Родине. Ей удалось остаться во Франции, зато болтливые французы узнали про Карима. Жан-Мари слов песни не понял, но, повинувшись тайным мужским инстинктам, о чем-то догадался.

– Это, наконец, про любовь? – строго спросил он.

– Про войну, – с вызовом ответили женщины.

– Милитаристы. Правду говорят, все русские милитаристы.

– Се вре, се вре\*, – серьезно подхватили французы.

Люба вдруг рассердилась:

– Вот именно, что «вре»! У вас про нас все врут, а вы верите.

– Но все время поете про войну! – воскликнул Мишель. – Очевидно, вас так воспитали... воспитало ваше правительство.

– От милитариста слышу! – возмутилась Ира. – Я, к примеру, не сирота, меня семья воспитывала, а не правительство.

---

\* Это правда, это правда.

– Родина, она как ребенок, – стала примирительно объяснять Люба, – мы ее можем ругать сколько угодно, а когда другие, то сразу неприятно. И потом... что вы знаете про войну?.. Ладно, девочки, давайте им споем про берег турецкий. Пусть поймут, что мы мирные люди.

Немало я стран перевидал,  
шагая с винтовкой в руке,

– затянули девочки.

– Неужели с винтовкой? – внезапно спросила пораженная Ира.

– Да, вот и я думаю, неужели я правильно поняла? – удивилась Мирей.

С блокнотом, с биноклем, с треногой, с бутылкой, ... Нет, все не то. С винтовкой он шагал. Он мирный человек, но его послали. И вообще он там шагал потому, что врага надо загнать назад в его логово.

Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна!

– девочки спели главную фразу.

– Нет, нас не правительство научило петь про войну, – сказала Люба. – А сама война... Она по всем прокатилась... Вы тут даже не представляете, что такое война и как это страшно.

– Франция тоже воевала. А вы молодые, в общем, женщины. Все родились гораздо позже. О чем вы говорите?

– Давайте каждый расскажет. Про себя лично. Только, чур, французы тоже. Ну и не привирайте, конечно.

– Идет. По кругу. Начнем с того, кто это придумал. Давай, Татьяна.

Таня кивнула и быстро выпила рюмку водки, красиво запрокинув голову. Пьер посерьезнел и отложил гитару.

– Моя мать ушла на фронт добровольцем в 43-м году, потому что у нее погибли на войне все родственники. Она вернулась двадцати четырех лет от роду, совершенно седая и больная алкоголизмом. Она никогда ничего не рассказывала, но каждое 9 мая у нее начинался запой. Где-то к сорока она родила меня, никогда не говорила от кого. Может, и сама не знала. Она была очень больна и глубоко несчастна, это не могло не повлиять на меня и на мою жизнь. Вот что такое война лично для меня.

Пьер сидел рядом и заговорил следующим.

– Мон пер\*... – нерешительно начал он и вдруг перешел на русский: – Мой отец был масон. И анахист. Поэтому его не пригласили в армию. Он строил военные укрепления.

Русские подпрыгнули от удивления, Мирочка деловито перевела на французский, французы остались невозмутимы.

– Ну, знамо дело, какие могут быть в армии масоны? – промолвила Катерина после ошеломленного молчания. – Они и в мирное-то время все развалили.

– Каменщик! – вдруг догадалась Таня, дико хохоча. – Его папа был каменщик. А по убеждениям анархист.

– Ну да, – согласился Пьер, – камьенсцч...ш... масон. Я тоже масон.

– Да, Пьерчик, ты тоже каменщик, только не вольный.

– Почему? Я вольный. У меня сдельная оплата. Вот возьму и не поеду завтра работать у Жан-Жака.

---

\* Мой отец.



– Так вы анархист или анашист? – заинтересовалась Люба.

– Когда как.

– Пьерчик, не болтай глупости! – Таня погрозила пальцем. – Послушаем теперь Катерину.

– Мой отец пришел с войны почти слепым и контуженным, а двое его братьев погибли. Ничего страшного он про войну не рассказывал, все только смешное или как девок портили. Батя дошел до Берлина, вернулся счастливый и гордый, весь из себя переможец. Думал, дальше все будет хорошо. Он решил переехать в Крым, сам построил там хату. Хата кривая вся получилась, нескладная, слипий же. Но попробуй ему кто-нибудь что скажи поперек – драться лез. С ним и не связывался никто, слепой да дурной. И пил, конечно. Было нас четверо детей, прокормить трудно, да разве он понимал чего? Мать забитая такая, тихая была. Так я и жила в перекошенной хате, пока замуж не вышла.

Настал черед Жана-Мари. Он побагровел от недовольства. Он не любил и не умел говорить долго, а тут еще его заставляли высказаться о чем-то странном и довольно деликатном.

– Вот что я вам скажу, дети мои. Шли войны и революции, лилась кровь, падали троны, а семья Блювак выращивала свой знаменитый виноград. Мы слуги своей земли. Ничто не отвлечет нас от служения ей. Так было и будет всегда.

Он ничего не сказал про вклад Катерины в семейное дело, но в знак благодарности принародно погладил ее крепкое колено.

– Блювак – это его фамилия, – пояснила Мирей после перевода.

Солнце зашло за гору, от этого быстро стемнело. В саду зажглись очаровательные фонарики, ярко осветился маленький пруд с почти игрушечным мостиком и фонтаном. В наступившем молчании вдруг отчетливо стал слышен его тихий, нежный плеск.

– Гостям не холодно? Может, пойдём в дом? – Нет, Танюша, здесь у тебя так красиво, век бы сидеть и любоваться. – Тогда я принесу чай сюда? – Чай, чай, чай! Вот чего не хватало для полнейшего счастья.

Французы, впрочем, попросили кофе. Таня и Катя занялись столом, принесли сладкое – Катину ватрушку, Танины миндальные печенья, Мирочкин пирог с инжиром. Водку оставили на столе, тем более что Рене и Мишель, наконец, были согласны выпить по глоточку.

Пока основные певички хлопотали, Любочка с Ирой очень душевно исполнили «Ах, война, что ж ты сделала, подлая». Пьер, как всегда, легко и безошибочно подобрал аккомпанемент. Когда запели про белые платица, которые подарили сестренкам, Люба, почти не таясь, заплакала. Она уже думала про то, что сейчас расскажет. На словах «до свидания, мальчики» заплакала Катя, которая слушала песню с инжирным пирогом в руках. Она снова вспомнила Карима, его гибкое тело, его горячую кожу.

Наконец, все расселись в том же порядке. Выпили чаю с пирогами, а потом снова по рюмочке. Настала очередь Любы.

– Я, как вы знаете, из Петербурга, то есть из Ленинграда. Моя бабушка прожила в городе всю блокаду. Вы, надеюсь, знаете про блокаду?

– Понятия не имеем, – Рене пожал плечами.

– Блокада – это голод. Ленинград был в окружении. Продовольствия не подвозили. Вода только из реки. Отопление, транспорт, канализация не работали. Мороз 40 градусов, а то и 42.

– У-ля! – Рене комично выпучил зеленые глаза.

– Не бывает такого мороза! – уверенно заявил Жан-Мари. – Не может быть в природе. При таком морозе погибнут все растения.

– Ну вот, был. Да не в морозе дело, а в голоде. Люди ели кошек, ремни и клей.

– Что за средневековье!

– Вот именно. Но это был огромный город двадцатого века. В блокаду погибло около миллиона человек.

– Как миллиона? Всего в России за войну?

– Нет, только в Ленинграде за блокаду. И в основном мирного населения.

– Бред. Ваша пропаганда в нулях запуталась. От силы могло сто тысяч Люба с ужасом поняла, что все французы, кроме Пьера, смеются.

– Миллион. И вообще, как вы можете смеяться?

– Э, мадмузель, – обратился к ней Жан-Мари, потому что ему было трудно запомнить ее иностранное имя, – мы здесь, во Франции, можем смеяться над чем угодно. Это наша национальная ценность. Если хотите здесь жить, извольте уважать наши ценности.

– Кто вам сказал, что я хочу здесь жить?

– Как, разве вы не собираетесь замуж за месье Рене?

– Это еще не решено.

– Не решено, не решено! – с неуместным энтузиазмом поддержал ее Рене. – Флажок еще не упал, мон кёр.

Он поймал на себе осуждающие взгляды остальных дам и задиристо сказал:

– Я, может, не всем нравлюсь, но я всегда говорю правду. «Правда – бог свободного человека». Между прочим, это слова вашего великого писателя Горького.

– А шел бы ты со своим Горьким, – вздохнула Люба. Эти слова Мира не перевела. Она стремительно старела, ей очень хотелось, чтобы племянница осталась во Франции.

В это время Пьер вскочил из-за стола и побежал к калитке сада. Там, за кустами, начался какой-то напряженный разговор. Пьер говорил тихо, а женский голос отвечал ему все громче и истеричнее, в довершение стал пробиваться детский плач.

– Мари приперлась, – пожаловалась Таня на ухо Кате, – гордости совсем нет... Как у нас гулянка, так тащится.

– Та женщина, у которой от Пьера ребенок? А она красивая?

– Да какая разница! – возмутилась Татьяна. – Она поймала семя Пьера перед самой нашей свадьбой. Я поехала в Россию за документами, а тут готово дело.

– Хм, а что, семя Пьера – это муха це-це какая, повсюду летает?

– Не будь ханжой, ты же знаешь этих французов. Они без предрассудков. Им это – что плюнуть.

– Мой колхозник очень даже с предрассудками.

– Ну, сравнила. Такие, как твой колхозник, размножаются почкованием.

– Танюшка, ты старая, и детей у тебя точно не предвидится. А тут единственный сын. Не боишься, что перетянет?

– Глупости! Я актриса, а он музыкант. Мы созданы друг для друга. Пьерчик на меня молится.

Незванные гости уехали, Пьер вернулся в воинственном настроении и бросился на защиту Любы:

– Итак, господа, разумеется, наши жены покинули свою страну лишь потому, что встретили здесь, во Франции, настоящую любовь. Если такое случится и с Любой, мы все будем рады.

– Не страну, а страны, – вдруг обиделась Катя. – Я вообще-то Украину покинула.

– А, да? Ну, здесь для нас все одно и то же.

– Лично я никому не дарил Францию в качестве свадебного подарка, – проворчал Жан-Мари. Катерина уже имела вид на жительство.

– Ай, отцепитесь от него, – махнула рукой Катя. – Колхозник и есть. Пусть лучше молчит. Люб, ты недорассказала про войну.

– Все люди как люди, а на мне вечно случается какая-то фигня. Я думаю, это в каком-то смысле из-за нее... из-за войны.

– Это из-за того, что ты медленно рассказываешь!

– Как тут быстро, если они вообще ничего не слышали про блокаду. Ладно, не будем спорить, сколько погибло. Если интересно, почитайте в Интернете.

– На французском вряд ли есть.

– О господи... Итак, мой дедушка ушел на фронт в 41-м году. Моя бабушка, его жена, прожила в Ленинграде всю блокаду. У нее было трое детей, а выжил только один, мой папа. Я помню эти детские маленькие могилки, мы с ней часто ходили на кладбище. Дедушка вернулся с войны в 47-м году, живой, здоровый, но с боевой подругой, с которой они прошли огонь и воду. С бабушкой они развелись, я его никогда не видела. Вот, значит, как получается, я довольно молодая, но на войне у меня погибли два моих дяди, ну и, в каком-то смысле, дедушка. Мой папа тоже развелся с мамой, когда мне было два месяца. А если бы были живы его братья, хватило бы и на мою маму, и на ту, другую. А так я провела все детство в окружении одних женщин, это что, нормально?

– А другой дедушка? – спросил Пьер.

– Другой мой дедушка погиб в лагерях. Архипелаг Гулаг и все такое. Это вы знаете.

– Сталин – тиран, мон кёр.

– Се вре, се вре.

– У нас была большая семья, – пояснила Мирей, – примерно половина уехала после революции за границу. И что вы думаете? Почти все мужчины из тех, кто остался в России, умерли не своей смертью.

– Терибль\*.

– Мирочка, не переводи, это только для женщин. Из-за моего детства мне неудобно с мужчинами. Я не знаю, как с ними общаться. Мне попадают одни психопаты, и никто, никто из них меня не любил.

К смущению Любочки, Пьер понял по-русски.

– Люба, вам так только кажется, игра воображения. Вы очень красивая женщина, Люба, – горячо запротестовал Пьер. Таня на секунду скосила на них глаза, но убедилась, что это не опасно.

– Любочка, душа моя, ты слишком много выпила. Убери водку, Таня, зачем вы так много пьете, – взмолилась Мирей.

– Да мы и не начинали!

– Ренато, твоя очередь, – сказал Пьер, назвав Рене по-испански.

– Я, честно, ничего не знаю. Мои родители были очень буржуазны, и я порвал с ними в ранней юности. Из-за того, что я отказывался получить высшее образование. Свобода важнее всего, да? Я не знаю, что они делали в войну. Вряд ли что-нибудь особенное. Во всяком случае, в детстве я ничего такого не слышал. Отец умер, а мать жива, да. Она

---

\* Ужасно.

в доме престарелых. Я ее даже иногда навещаю, но, по-моему, она уже мало что понимает.

Настала очередь Иры. Она, к удивлению Мишеля, тоже выпила полную рюмку и занюхала рукавом.

– Вы точно хотите это услышать? Конечно, надо, чтоб уж все. Поехали. Моя бабка родила от немца. По любви, не по любви – в войну это не имело значения. А вот сестра ее оказалась менее стоворчива, она немца убила, когда он к ней полез. А вот так. Вилами заколола и закопала в погреб. Не вилкой, Мира, а вилами. Это такая штука для сена. Ну да у вас тоже есть. Нет, ее не привлекли к уголовной ответственности. Потому что вскоре наши село взяли. Ну вот, бабка от немца родила – позор. Перетолками ее замучили, и она попала в дурдом. Это значит, с ума сошла, Мирочка. Дочка ее, моя мама то есть, осталась сиротой. Что характерно, тетка отказалась взять сироту к себе. Я, говорит, может, ейного папу в погреб закопала. Если не хотите, чтоб и я в психушку загремела, уберите от меня этого ребенка. Детдомовская моя мама была, значит, но с семейством связь как-то поддерживала. Мне велела никому не рассказывать, а я вот тут с вами напилась и рассказываю. Мой папа, как назло, был евреем. У него в Белоруссии, в войну... сами понимаете, вся семья погибла. Он спасся, потому что его совсем маленького на лето отправили к родственникам на море. Он, когда узнал, что мама дочка немца, не смог с ней жить. Развелся.

– А вы случайно не еврей, Мишель? – некстати пошутил Рене.

– Я? Нет, не еврей. – И после некоторого молчания неуверенно добавил: – Но я наполовину немец.

Все уставились на Мишеля, как на привидение.

– Я немец из Эльзаса. Мой дедушка был инженером. Кажется, в войну он служил в немецкой армии... В семье об этом не говорили.

– Так он убивал добрых французов? – попыталась пошутить Мира.

– Не думаю, – пробормотал Мишель.

– В России-то он не служил? – осведомился Пьер.

– Нет.

– Ну, слава богу.

– Почему ты не написал, что ты немец, когда мы с тобой знакомись? – строго спросила его Ира по-английски.

– Не написал? Это что, имеет значение? Я – это просто я. И потом, ты, как я вижу, тоже немец. В общем, считайте, я уже рассказал про войну.

Ира принялась растирать себе виски, Катя стала жевать огромный кусок ватрушки.

– Давайте выпьем, – предложила Таня. – Не чокаясь. За всех погибших, раз мы сегодня так много говорили о войне.

– Что, по полной рюмке? – ужаснулся Рене.

– Я не буду, мне не нравится водка, – сказал Жан-Мари.

– А ну вас, нехристи, – Катя махнула рукой. – Девочки, давайте без них.

Русские выпили по полной и вопросительно посмотрели на Мирей.

– Говори, Мирочка. Ты единственная из нас, кто должен сам помнить войну.

– Да, мне было девять лет. В Ниццу, где мы жили с мамой и бабушкой, пришли немцы. И мама, и бабушка не были замужем. Да, наверное, семейное. Но дело в том, что мой папа был евреем, и, стало быть, мне грозила большая опасность. Меня забрали из школы, я училась дома.

Я не понимала, почему это было необходимо, а мне не хотели объяснять, не хотели пугать меня, только все просили никому не говорить, что мой папа еврей. Мама и бабушка часто плакали, я понимала, что надвинулось что-то жуткое. Я узнала, что во мне есть что-то такое, за что меня могут убить, и никто, никто, даже мама, меня не защитит. Я могу быть самой вежливой и доброй девочкой в классе, могу учиться лучше всех и знать французский на отлично, но у меня внутри есть что-то такое, за что меня хотят убить. И это из-за того, что мой папа, которого я и видела-то пару раз в жизни, был кем-то не тем. С тех пор мне всюду неуютно и холодно... Боже, как я одинока.

– Я бы осталась с тобой, Мирочка, – зашептала Люба, обнимая родственницу, – да не могу, нужен идиотский вид на жительство. Между прочим, в детстве, при Советском Союзе, вся наша семья слушала «Голос Америки». И они постоянно нам рассказывали про билль о правах человека. Каждый человек, мол, может жить там, где считает нужным. Просто все уши нам прожужжали этими правами человека. А тут, видишь ли, визы им подавай, разрешения всякие.

– Сволочи, – согласилась Татьяна, – сволочи капиталисты. – И вдруг запела:

Вставай, страна огромная...

Женщины дружно подхватили. А мужчины испугались, в этих тяжелых, как грохот сапог, звуках действительно слышалась ярость, ярость загнанного в угол зверя.

– Это не песня, это заклинение, шаманство. После хочется убить или умереть, – прошептал Пьер. Мирей перевела эти слова на русский, а потом перестала переводить, решила, что уже ни к чему.

– Эй, комрады, а вы не боитесь с ними жить? Это валькирии, а не женщины, – Рене внезапно вскинул отяжелевшую голову.

Идет война народная, священная война...

– упрямо пропела Таня.

– Ньюша, Ньюша, милая, она не идет, она прошла. Давно кончилась, – Пьер погладил Таню по голове, словно пытаясь разбудить.

– Нет, идет. Это мы в сорок пятом думали, что кончилась, а она шла и шла... И пока вы не добьете Россию до конца, будет идти... Сволочи.

– Ой, зря, – засокрушалась Катя, – эту песню нельзя так просто... Лихо не будите, сон у него чуткий...

Внезапно Таня зарыдала.

– А эта пьеса как называется? – проворчал Пьер и в знак протеста стал убирать со стола.

– Эта пьеса называется «Гибель империи», – объявила Любушка. – Мужчины убиты, женщины плачут в плену у чужеземцев.

Мира возмутилась:

– Империя погибла девяносто лет назад! И в любом случае ее граждане не обязаны гибнуть. Наоборот, они обязаны быть счастливыми, как и все божьи дети.

– А тебе, Любаша, что, птичку жалко? – спросила Таня, которая перестала плакать так же быстро, как начала.

– Какую птичку?

– Россию!

– Ну, да... Жалковато. Вы бы видели, во что она превращается...  
– А она тебя жалеет, эта птичка?  
– Она никого не жалеет. Она без мозгов. Дятел практически... Но любим мы ее не за ум.  
– Брось, Люба. Пока ты умиляешься березкам и квашеной капусте, тебя переедет какой-нибудь пьяный мент на «мерседесе» и скажет, что так и было.  
– Любушка, дорогая, – добавила Мира, – ты о себе подумай. Тебе скоро сорок лет, после жизнь полетит, как пушечное ядро, я-то знаю. Что тебя там ждет? Пенсия как у бомжа, а потом больница для нищих?

Мишель не понимал ни слова в их разговоре. Он молча обнимал Иру, как будто пытался стереть из их совместной жизни все, что сегодня услышал. А Ира, похоже, вовсе его не замечала, внимательно слушая соплеменниц.

– Если не можешь обворовать эту больную страну, то из нее надо валить, – твердо сказала Ира.

Любушка покосилась на Рене, который наконец заснул, свесив голову на грудь. Жан-Мари сидел совершенно прямо, но выдавал себя отчетливым храпом. Пьер по-прежнему занимался посудой, и лишь Мишель остался рядом с женщинами и тревожно вглядывался в их лица.

– А если и валить не могу? – оскалилась Любушка.

– Выучи французский, и дело наладится, – посоветовала Таня.

– Да что я, лошадь цирковая? У меня высшее университетское образование!

Все дружно засмеялись

– Мирочка, тебе не обидно за язык Вольтера и Мольера?

– Нет. Просто вы перебрали и болтаете глупости. И потом, Рене не такой уж плохой человек. Он честный.

– А твой чего на нас пялится? – неожиданно обратилась к Ире Катя. – Он случайно не того, не из шпионской школы? Может, он все понимает?

– Он пытается разгадать русскую душу, – предположила Ира.

– А зачем ему душа? – снова заскандалила Таня. – Прикажут, и будет стрелять... Душа не душа...

– Он в отставке, – нежно проворковала Ира, и обманутый ее голосом Мишель, словно услышав что-то очень хорошее, снова принялся ее обнимать.

– Татьяна, с твоей наследственностью и с твоими диагнозами тебе не следует столько пить, – вздохнула Мирей.

– Мирочка, мне все равно. У меня все уже было. Было! Там! В другом мире! Я была Джульеттой, Офелией и Жанной д'Арк!

Катя взяла на баяне несколько аккордов, которые можно было принять за сигнал отбоя.

– Хорошо посидели, а, девчонки?

– Что, уже закругляемся? – разочарованно протянула Ира.

– Нехристи наши спят. Фатиге\*. Рене и моему рано вставать... Не умеет здесь народ гулять, эх, не умеет.

– Спой на прощанье мою любимую, – попросила Таня.

– Спою. Но я буду плакать.

– Так мы все будем плакать. Ничего. Зато потом год будем спокойно говорить с французами о жратве и погоде... Каждый божий день

---

\* Устали.

о жратве и о погоде... О господи!.. Никто лучше тебя «Хвилиночку» не поет. Давай.

Катя запела, и в темное чужеземное небо понеслись звуки неизъяснимой нежности:

Ніч яка місячна, зоряна, ясна,  
Видно, хоч голки збирай.  
Вийди кохана, працю зморена  
Хоч на хвилиночку в гай.

Ти ж не лякайся, що ніженьки босі  
Топчуть холодну росу.  
Я ж тебе рідная аж до хатиноньки  
Сам на руках віднесу.

На этом месте голос Катерины задрожал, она слишком отчетливо вспомнила Карима. Она оборвала песню, но все женщины уже смахивали слезы, даже Мирей.

Прощались не так чинно, как встречались, но тоже с соблюдением всех приличий. Жан-Мари и Рене проснулись. Таня нашла в себе силы подняться, правда, стараясь стоять на одном месте. Пьер придерживал жену за талию, их благодарили за прекрасный прием. Только тут, в самом конце, все поздравили друг друга с православным Рождеством, ради которого собрались. Гости разъехались. Пьер погасил в саду свет, и сразу стало очень темно.

# ПРОЧНЫЕ ВЕЩИ ПРОШЛОГО

Раньше, как известно, все вещи делали основательнее и прочнее – автомобили, магнитофоны, фотоаппараты. Говорят, и теперь вовсе не разучились производить товары первой, второй и третьей необходимости, а специально халтурят: ведь чем быстрее вещь сломается, тем быстрее купят новую. А вот семья Завидовых не из таких, они противостоят этому мировому заговору. Шьют на швейной машинке «Зингер», с ножным приводом, почти бесшумной. Ей сто двадцать пять лет, в ее чугунных кружевах проглядывает эстетика Охтинского моста, чай ровесники. Раньше бабушка Надя шила много, обшивала всю семью, теперь машинка выкатывается из своего почетного угла редко – заплату поставить или там подкоротить что-нибудь, не в мастерскую же нести? А новая машинка ни к чему, тем более что старая – память о бабушке. Или, скажем, холодильник. Ему тридцать лет. Советский, отличный. Говорят, его при пожаре кубарем спустили с лестницы, а ему хоть бы что: включили – заработал. И до сих пор холодит на славу. Главное, регулярно размораживать. И вообще, не выбрасывать же такой героический предмет на помойку. Это все равно что старика с обрыва. Что там кричат эти плебеи в рекламе: черная пятница? Налетай, подешевело? Ха-ха-ха. Пока не истлеет, не рухнет, не сотрется, не видать вам наших денежек, не на таких напали. Мебель вся пятидесятих годов, добротная. Была настоящая антикварная, стоила бы сегодня, наверное, бешеных денег, но во время войны соседи топили той мебелью буржуйку, святое дело.

Завидовы жарят на чугунных сковородках и ни за что не променяют их на тефлоновые. Завидовы признают пододеяльники исключительно с ромбовидным отверстием посередине полотнища. Пусть с заплатками, но кто рассматривает постельное белье? Были бы такие новые и, в идеале, без чудовищных роз, тигриных морд или майти-маусов, купили бы. Кстати, Завидовы не какие-нибудь там сибирские отшельники, они вовсе не против прогресса. Вместе со всеми они обзавелись мобильными телефонами, компьютерами и даже автомобилем, причем не «Волгой» и не «Запорожцем», а некой новой иномаркой. Нет, не от нищеты Завидовы привязаны к старым вещам, а по убеждению. А нищета, ну, вернее, бедность третьей степени, как выражалась та же оптимистичная бабушка Надя, только помогала: деньги семьи не сломила инфляция, они не сгорели ни в одном банке, ни в одном кризисе, не были вложены в пирамиду «МММ», денег просто никогда не было.

Завидовы тратят в основном на еду. Гораздо реже – на одежду. Конечно, тут не обходится без конфликта поколений. Молодые хотя и стараются носить только добротное и натуральное, но все же не чужды диктату всемогущей моды. Года не пройдет, а они уже норвят



притащить из магазина какую-нибудь тряпку. А шкафы-то не резиновые! «Это вещизм!» – с осуждением констатируют пожилые.

Вышедшие из моды пальто, как, впрочем, и остальные устаревшие вещи, переправляются на дачу. На даче имеется пять меховых жилеток, переделанных из старых шуб. И еще несколько целых старых шуб, и пальто на ватине, и, скажем откровенно, три самых настоящих ватника. Сюда же сосланы меховые шапки – что ни говори, люди постепенно перестают носить зимой шапки. Глобальное потепление наступает. В дачном доме проживает также множество ковриков, сплетенных бабушкой и ее подружками из порезанных на полосы старых платьев. В городе и на даче хранится немало носков, шарфов и беретов, связанных ими же из распущенных шерстяных кофт. Да что там – имеется целое шерстяное одеяло из вязанных крючком квадратиков. Сносу нет! Теплое! Яркие натуральные краски не потускнели за полвека. Сносу нет и кирзовым сапогам дяди Вити, в которых он пришел из армии. Хотя тут эксперимент не чистый, ведь сапоги давно никто не носит, потому как разучились наворачивать портянки. А без портянок такие сапоги не работают, в том расписались легкомысленные молодые экспериментаторы своими кровавыми мозолями. В дополнение к сапогам на даче хранится ящик кожаных женских туфель и полусапожек. В отличие от платьев, туфли не меняются кардинально на протяжении века, могли бы еще послужить, хотя бы в огород ходить, но с размером неувязочка. Нынешние завидовские дамы не могут в них влезть: то ли аристократизма в роду поубавилось, то ли питаться стали лучше и расти больше.

Обо всем этом размышляла Таня Завидова, когда она неожиданно проснулась во втором этаже старого дачного дома. Было около четырех часов утра. Солнце белой ночи светило через шторы. В Танином детстве шторы назывались занавеской, она была ярко-розовой и довольно плотной, по утрам комната наливалась светом зари, сгущенным волшебным материалом, из-за чего это суровое, в сущности, помещение с самодельным топчаном и бревенчатыми стенами до сих пор претенциозно именуется розовой спальней. Нынче Тане сильно за сорок, и, если смотреть правде в глаза, занавеска стала почти серой и прозрачной. Чудо в том, что от года к году в комнате никаких разительных перемен. Ах, что за мысли? Нет ничего менее подходящего для роскошного летнего утра на даче, в первые, самые пленительные дни отпуска, в окружении любящих и любимых домочадцев. Вообще, с чего это она проснулась? На даче положено дрыхнуть без задних ног. Вот и полосатый Мурзик так считает, храпит, как мужичок, ухом не ведет. Он не такой уж крупный кот, но безошибочно занял самый центр ложа, из-за чего Таня изгибается дугой. Одеяло тяжелое. Неудивительно, оно сшито из двух старых пальто. Подружки не могут под ним спать, неженки. Татьяна не из таких. «Дворяне не баловали своих детей, ведь их удел – военная служба», – объясняла ей мама. Маму вообще-то зовут Ольгой, но в семье все величают ее Сержантом. «Мы выиграли войну, потому что выносливы и неприхотливы», – многозначительно улыбалась бабушка. Это действовало – Таня Завидова выросла очень незаурядной барышней. Только с мужчинами что-то ей не везет, ну да еще не вечер.

Котяра внезапно встрепенулся и быстро ушел из комнаты, словно вспомнил о давно намеченном деле. Таня с наслаждением вытянулась во весь рост, простыня в том месте, где он спал, была горячей. Мр-р-р... Жизнь... До чего же сладкий, сладкий, сладкий леденец. Неужели? А когда? А как? Тьфу, опять эти неуместные думки. Почему так часто на этой

кровати? Под головой у Тани плоская жесткая подушка, набитая сеном. Да! Это уже слишком. Сено скошено, наверное, еще до Таниного рождения. Все его мягкие и душистые фракции рассыпались в пыль, осталась жесткая ость. Нужно менять. Положить туда свежее сено. Это будет прикольно и в то же время не нарушит диковинные традиции завидовской дачи. Таня дождалась утра, вооружилась бритвой и пошла на улицу пороть подушку, преодолев слабое ворчание старшего поколения.

Под первой, розовой наволочкой оказалась вторая, с бабушкиной вышивкой гладью. Яркие, прочные нитки изображали пухлых детей играющих со щенком на цветущем лугу. Хорошо бы все бабушкины вышивки собрать, поместить в рамки, повесить по стенам. Ведь это чудо. И хватало же у нее времени, а ведь стирала в корыте, стояла в очередях по три часа в день, часа по два готовила, да и работала к тому же. Удивительно.

Под вышивкой обнаружилась мягкая шерстянка, а затем третья наволочка из брезента, в которой зашито сено. На брезентовой тряпке защитного цвета чернилами выведены буквы, похоже на какой-то шифр.

– Мама, а это что еще за русские страшилки?

– Ой! Да это та самая юбка!

Итак, в 1941 году бабушке Наде исполнилось 26 лет. На свадебной фотографии она выглядит веселым, непуганым ребенком с ямочками на щеках и дурацкими кудряшками по тогдашней моде. Младшая сестра четырех братьев, Надюша переходила под защиту солидного, обеспеченного мужа, что был на целых десять лет старше. В начале войны она жила в Ленинграде с мужем, матерью и полуторогодовалым ребенком – Таниной мамой – в уютной пятнадцатиметровой комнате в коммуналке. Уезжать в эвакуацию Надя не хотела, вернее боялась. Ранней осенью сорок первого еще не стал реальностью голод, а бомбежки не слишком пугали. Просто ползли слухи, что где-то кого-то ранило или даже убило. Впрочем, за семью все решили другие люди: дед работал на заводе, завод эвакуировали в Омск, все работники вместе со станками и прочим оборудованием обязаны были оказаться в Омске. Дед был инженером, ему разрешили взять с собой всех домочадцев. Кота взять не разрешили, его оставили на соседей, они обещали кормить и лелеять. Мурзик, уйди, не слушай. Потом началась блокада, и кота съели. С соседями не спросить, несмотря на полученные калории, они и сами умерли впоследствии от голода. Слава богу, в роду Завидовых нет ясновидящих. Целуя кота и подбадривая друга, женщины стали собирать вещи в эвакуацию. Они обе плакали, но старались скрыть слезы от ребенка, от Таниной мамы: дескать, отправляемся в небольшое увлекательное путешествие, ничего страшного. Дед цыкал на домочадцев, он не одобрял женские страхи, считал, и, наверное, небезосновательно, что эвакуация – это счастье.

Все самое ценное – три хрустальных бокала дореволюционных времен, чудная «каменная» ваза с совсем незаметной трещиной, несколько тарелок кузнецовского фарфора и старинная кукла с очаровательным фарфоровым личиком – Надя аккуратно завернула в тряпки и сложила в фанерный посылочный ящик. По правилам, ящик было необходимо обшить плотной материей. В ход пошла брезентовая юбка военного покроя, актуального цвета хаки. Надюша распоролла юбку, обшила ящик и несмываемым чернильным карандашом написала на материи имя адресата, то есть свое собственное имя. Адрес, ясное дело, еще не был известен, но к имени был добавлен табельный номер и довольно длинный шифр предприятия, которое к тому времени уже стало военным.

Эвакуировались по Дороге жизни, на баржах, через не замерзшую еще Ладогу. С тех пор бабушка Надя на всю жизнь сохранила особо благоговейное отношение к военным морякам.

Все пассажиры сидели в трюме. От морской болезни Наде было так плохо, что, кажется, только необходимость приглядывать за маленькой дочкой Олей удерживала ее в сознании. Она видела, что морячки усердно развлекают младенца и даже угощают его сахарной головой – огромным куском сахара конусовидной формы. Бабушка все порывалась подняться на палубу и перегнуться через борт, а матросы со странной усмешкой ее отговаривали, говорили, что там она промокнет, вода перхлестывает, предлагали потопить прямо тут, если невтерпеж. Надя не решилась на такой позор, рванула наверх. Она услышала грохот и увидела огромную волну, вернее сказать, колонну черной воды до неба. Оказывается, их баржу, со всеми их детьми, пожитками, чемоданами... бомбили. Бомбили с самолетов, словно они не понимали, что тут мирные люди. Надя потеряла сознание, досматривать эту страшную сказку она отказалась. А вот Танина мама помнит все по-другому, хотя, возможно, она наслушалась слишком много взрослых разговоров. Так или иначе, Оля помнит себя тоже на палубе и помнит тонущего игрушечного мишку в бесконечно глубокой воронке воды, чуть ли не на километры вниз раскручивалась эта воронка. И ее, ребенка, переполняли те же, совсем взрослые эмоции, что и всех окружающих, – вот тонет чье-то дитя, значит, происходит нечто невообразимое, запредельно безумное.

Дальнейшая дорогая была тяжелой, но относительно безопасной. Только на месте, в Омске, выяснилось, что дед, находившийся в другой группе эвакуируемых, погиб. Он был на той барже, которая затонула. Может, даже на той, которая затонула совсем рядом. Оказалось, что и вещи их ушли на дно, но после того, что случилось, о вещах никто не переживал.

Бабушка стала главой и кормилицей их небольшой семьи, она пошла работать на завод, стояла у станка. О жизни в эвакуации она ничего толком не могла потом вспомнить, кроме того, что все вокруг очень много работали и жили впроголодь. На заводе выдавали обеды, которые она приносила домой и делила между всеми. Обеды отличались удивительным однообразием: котлеты из картофельных очисток и селедочные головки. И так более года подряд. Некоторые несознательные граждане задавались вопросом, кто же, ради всего святого, съедает в столь огромных количествах очищенную картошку и обезглавленную селедку? Не на фронт же ее посылают, фронт за тысячи километров. Вопрос, впрочем, не шел дальше надежных соседей, которым можно было полностью доверять. Ведь ненадежные соседи могли сообщить, куда следует, что бабушка задает совершенно неуместные в суровое военное время вопросы. Так пресекались разговоры, поддерживалась дисциплина, завод поставлял на фронт танки. Летом всей семьей ходили на далекий огород – им дали за городом землю, там они что-то растили, хоть какие-то витамины. Мама Оля помнит эти изнурительные походы, она бегала от медленной бабушки к быстроногой маме, в результате преодолевала в два раза большее расстояние.

Года через два, когда очистки и головки совсем стали поперек горла, а на коже от плохого питания все чаще высыпали чирьи, в барак шагнул почтальон и вручил Наде... посылку. Ящик, обшитый брезентовой юбкой цвета хаки, с ее собственной фамилией, выведенной ее почти счастливой, почти довоенной рукой. Представьте себе, всемогущая и

тайнственная организация ЭПРОН подняла затонувшие баржи со дна, и все вещи, владельцев которых можно было определить и найти, были отправлены адресатам. Итак, прочная ткань, несмывающиеся чернила, усердные водолазы плюс надежная, как часы, работа почты в разгар войны – и семья Завидовых вновь обрела недораспроданные в Гражданскую войну сокровища – вазу с трещиной, три бокала, несколько суповых тарелок и куклу. Все, кроме куклы, довольно быстро обменяли на продукты: Танины предки вспомнили, каковы на вкус почти уже забытые сахар, яйца и молоко.

А вот с куклой все получилось сложнее. Надина дочурка, которой к тому времени исполнилось три с небольшим, увидав погибшую было игрушку, улыбнулась первый раз за все время с начала войны. После этого Надя и думать не могла, чтобы расстаться с этим загранично-буржуазным излишеством, наоборот, на досуге сшила для куклы несколько платьев, чтобы задрапировать изрядно попортившееся в воде тряпочное тело. Кукольные пышные волосы тоже сгнили, поэтому кукла носила на голове косынку, как, впрочем, и ее хозяйка. Это обстоятельство делало куклу почти совсем живой (она тоже, как все вокруг, переболела тифом), а поэтому еще более ценной. С той поры сохранилась фотография: мрачная девчушка в белой косынке, Танина мама Оля, прижимает к себе куклу, в точно такой же косынке, но кукольное лицо весело и безмятежно, распахнутые глаза с надеждой и уверенностью смотрят в будущее. Соседи и их дети сбегались поглазеть на фарфоровую красавицу, девчонки завидовали, одна семья предлагала за куклу целый килограмм масла, Надя оставалась непреклонной, но кукла в один прекрасный день, к сожалению, исчезла. Ее украли. Танина мама до сих пор помнит ощущение своего огромного детского горя, а бабушка, кажется, всю жизнь жалела о неполученном килограмме масла. Ведь не прошло с тех пор и года, как ее мама, то есть Танина прабабушка, умерла в эвакуации от воспаления легких. Конечно, дело не в масле, вовсе не в масле, но, с другой стороны, такие страшные, быстротечные воспаления бывают именно от недоедания.

В Ленинград они возвращались вдвоем – тридцатилетняя бабушка Надя и бесконечно повзрослевшая Оля, которой, впрочем, не было еще и пяти лет. Брезентовая юбка, свернутая в трубочку, лежала в их тощем багаже, все-таки прочная материя, на что-нибудь да пригодится. Дальше все пошло неплохо. Наде посчастливилось второй раз выйти замуж, что после войны было неслыханной удачей. Второй ее муж, правда, потерял на войне обе ноги, но ловко ходил на протезах, некоторые и не догадывались, что он калека. От этого брака родились два потрясающих Олиных братца, которые и прозвали ее Сержантом, Славка да Витька. Как еще могли назвать послевоенных мальчишек? А еще один из четырех Надиных братьев нашелся в 49-м году. Оказывается, единственный из четверых – выжил. Из Европы долго выбирался. Тоже женился, тоже родил двоих, мальчика и девочку. Так и сложился заново дружный завидовский клан.

А вот что с ней теперь делать, с этой юбкой? Не в музей же отдавать, все равно не поверят. А поверят, так не напишут, а напишут, так не прочитают. Таня лучше набьет эту наволочку свежим сеном. Пусть следующие поколения Завидовых смотрят на этой подушке свои молодежные сны. Пока вещи служат, они живут.